

Василий Голованов

Остров

или оправдание
бессмысленных путешествий



альпина
ПРО
ЗА

Премия «Ясная Поляна»
Prix Laure-Bataillon

18+

Василий Голованов

**Остров, или Оправдание
бессмысленных путешествий**

«Альпина Диджитал»

2002

УДК 821.621.111-311.8
ББК 84(2=411.2)6-44

Голованов В. Я.

Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий /
В. Я. Голованов — «Альпина Диджитал», 2002

ISBN 978-5-00-223186-7

Книга прозаика Василия Голованова о путешествии на заполярный остров Колгуев – один из лучших образцов документальной литературы, которая при этом обладает красотой и увлекательностью художественной. Потому что вся эта так давно начавшаяся с Островом история, это не только история бегства – от отчаяния к творчеству, от юношества к взрослости, от невроза к любви – но еще и попытка сохранить этот остров в духовной картографии человечества в тот час, когда все отвернулись от него, когда он никому, кажется, не внушает ничего, кроме ужаса и неясного опасения. Ненцы, поморы, суровая, но манящая северная природа и быт – Голованов сконструировал в «Острове» совершенно особенный мир, в который хочется возвращаться снова и снова. Я чувствовал, что шагнул за границы привычного мира, а значит – путешествие наше прошло не зря, и что бы там не случилось дальше, одного этого дня достаточно, чтобы оправдать все.

УДК 821.621.111-311.8

ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-00-223186-7

© Голованов В. Я., 2002

© Альпина Диджитал, 2002

Содержание

I. КНИГА МЕЧТЫ	8
Ночь	10
Апология бессмысленных путешествий	15
Петр	22
II. КНИГА БЕГСТВА	28
Между «теперь» и «никогда»	30
Бегство	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Василий Голованов

Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий

Текст публикуется в авторской редакции

Издатель: Павел Подкосов

Главный редактор: Татьяна Соловьёва

Руководитель проекта: Мария Ведюшкина

Ассистент редакции: Мария Короченская

Арт-директор: Юрий Буга

Корректоры: Ирина Панкова, Юлия Сысоева

Компьютерная верстка: Максим Поташкин

Дизайн обложки: Валерий Голыженков

Фото на обложке и в блоке из архива автора

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© В. Голованов (наследники), 2002

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

* * *

Василий Голованов

Остров

или оправдание
бессмысленных путешествий

Третье издание

Москва, 2024

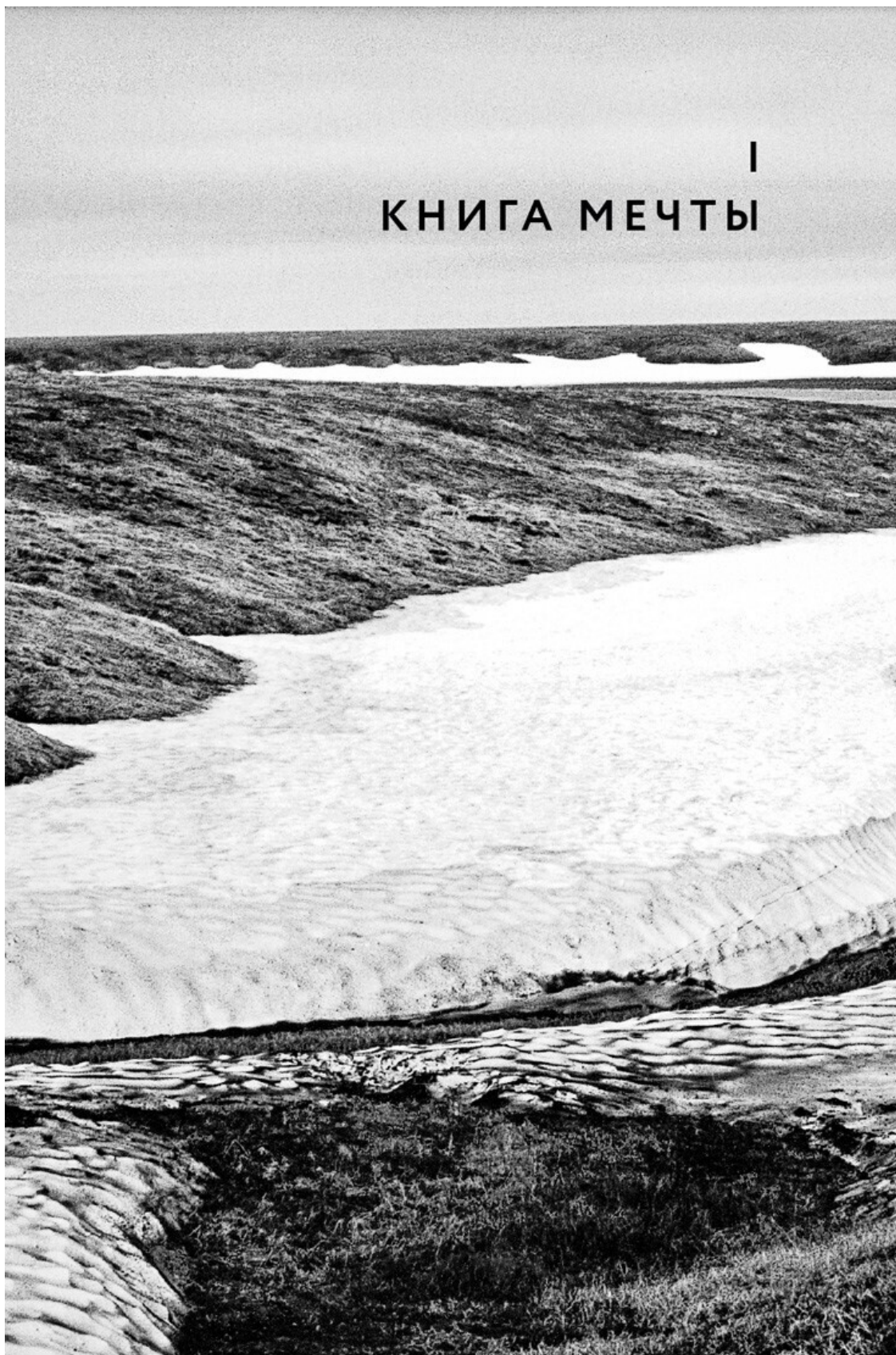
альпина
ПРОЗА

...От Чоши 15 верст речка Голубница; от Голубницы 15 верст речка Перепуск. От Перепуска 20 верст речка Вижас; от Вижаса 27 верст река Вама. От Вамы 10 верст 2 речки, обе Снапницы, от Снапниц 30 верст река Пеша. А в Пешу пала из горы из Большого Камени река Пояса. Большого Камени вдоль до моря 230 верст.

А от устья реки Пеши морским ходом 25 верст река Малая Пеша. От Малыя Пеши речка Решиительница; от Решиительницы 30 верст река Лонга; от Лонги 30 верст река Сая. От Саи 30 верст река Чорная; от Чорной 30 верст река Васильева; а на устье тое реки гора Большой Камень прилегла к морю. А по другой стороне того камня пала в море речка; от тои речки 20 верст река Индега, течет поперек Камени горы, Меньшого Камени, протоку тое реки 170 верст. От Индеги 20 верст речка Железная; от Железныя реки речка Горностай. А промеж тех речек на море остров Святой Нос, вдоль по тому острову 30 верст; а против Святого Носу на море остров Калгуев; а от Калгуева до морского берегу 120 верст; а из Калгуева острова текут в море 3 реки: Бугрянка, да река Вялимка, да река... А вдоль по тому острову 100 верст, а поперек 50 верст...

Книга Большому Чертежу, 1627

I. КНИГА МЕЧТЫ





Ночь

В ледяном гостиничном номере. Под двумя одеялами. В шерстяных спортивных штанах. Ночь. Дождь за окном.

Зачем? Зачем все это? – я чувствую вдруг, что хочу есть, хочу принять горячий душ.

Что я ищу? Остров? Но он открыт задолго до меня. Остров – моя нелепая выдумка, и не нужно богатого воображения, чтобы представить себе, что там. Плоскость. Тундра. Серое низкое небо, изрытое, как пашня, темными облаками. Тусклое жестяное солнце, которое за тучами и не увидишь ни разу. Чахлые травинки, дрожащие на ветру, аптечные ромашки – триумф летнего полноцветия... Запах сырости, болота повсюду, и морской берег – с запахом только глины, ибо вода почему-то не пахнет. Желтая, ледяная...

В остальном же все, должно быть, так же, как здесь, в Нарьян-Маре, только еще хуже. Такой же холод, та же нищета...

Второй день в гостинице не топят и нет воды. Я набираю воду из колонки на улице в котелок. Утром хватает воды умыться, сполоснуть унитаз, вскипятить чай. Вечером – умыться, смочить полотенце для обтирания, слить унитаз, вскипятить чай. На втором этаже гостиницы есть дверь с надписью «Буфет». Ни разу не видел ее открытой. А ведь это новая, самая дорогая в городе гостиница. Лучшая...

Опять брьюжу. Ночью малодушные мысли заходят в голову, как косяки рыбы. Иногда стая больше, иногда меньше. Иногда вообще ничего не соображаешь: так все трепещется и блестит всякими опасениями, будто мелкая селедка пошла.

Это все из-за того, что приходится ждать вертолет в чужом городе. К тому же москвичи не умеют ждать. Журналисты – особенно.

Я знаю: настоящие мысли всегда появляются *после*. После того, как дело сделано. И нет никакого смысла обращать внимание на эти косяки рыб. Но у меня гайморит. Я физически страдаю от холода. И этот дождь день за днем...

А потом, что это говорил Корепанов про то, что на острове существует как бы два параллельных времени – трезвое и пьяное? И что во второе лучше не попадать... И что чем интереснее, чем обаятельнее человек в трезвом состоянии, тем ужаснее будет он в пьяном... Эта мысль фундаментальнее, чем кажется. Корепанов знает, что говорит: три года он прожил на острове председателем. Запомнился почему-то его рассказ, как остров просыпается к жизни весной: мартовское солнце заливает льды чистым розовым светом, и посреди оглушающей тишины вдруг в темной промоине моря тяжело бьет хвостом белуха... Про каких-то подземных чело-вечков... Про нож...

Нож... К этому я как-то совсем не был готов. Я, откровенно говоря, боюсь. Романтиче-ский замысел моего путешествия вышел насквозь лживым: нет ничего менее романтического, чем сегодняшний Север. И я боюсь теперь, что не найду того, что надеялся найти. *Omnia praeclara rara*¹. Я был предупрежден древними. И за два тысячелетия европейской истории мало что изменилось, разве что для выражения старых истин мы пользуемся теперь новыми языками: «The beauty is a rare thing»². Даже в музыке, черт возьми. По тому, что я читал о Севере, казалось возможным отыскать здесь следы некоей *первозданной* красоты. А из того, что мне открылось, ясно, что встретиться, скорее всего, придется с чем-то очень тягостным, может быть даже опасным, как этот нож в руке пьяного...

Опять. Это косяк рыбы. Гони его! Бей веслом по воде, сидя на плоту гостиничной койки! Прочь, мелкота, прочь!

¹ Все прекрасное редко (лат.). – Здесь и далее примечания автора.

² Красота – редкая штука (англ.). Фраза принадлежит пионеру фри-джаза Орнетту Коулману.

Спрыгиваю с плота и, осторожно ступая босыми ногами по ледяному дну, подхожу к окну. В подслеповатой мгле дождя – серые бараки Нарьян-Мара. Чужой город, в который меня зачем-то занесло... Нет. Я приехал по своей воле. В поисках. Надо спокойно понять: в поисках чего? Смыслов. Смыслов человеческой жизни. Пусть это звучит до глупости высокопарно, но что делать, если мы действительно поставлены лицом к лицу с бессмысленностью существования?

Потому что война – это уже серьезно, это бессмыслица всерьез. Тысячи людей убиты. Уничтожены друг другом. Лишены смысла. В ту ночь, когда я собирался совершить свой первый прыжок на остров, территорией бедствия были Сумгаит, Карабах, Баку... С тех пор список разросся, как раковая опухоль. Семья, дом, мир отдельного человека, его усердие и радость лишены смысла. Смерть собирает свою жатву. Надо смотреть в глаза правде: в глаза нищих, в глаза беженцев, полные отчаяния, в остывшие глаза убитых. *Человеческая жизнь не стоит ни гроша.* В настоящей цене власть. Деньги. Сырье. Оружие.

В настоящей цене, как ни странно, все, что уродует, коверкает жизнь, запутывает ее, рушит, не давая ей подняться, не давая схватиться камням кладки, не давая окрепнуть молодым росткам. У ненависти свои законы. Мы снова живем на краю времен...

Я не верю в «права человека», но верю в то, что человек стоит своей человечности. Убитый или обездоленный, лишенный своей доли, судьбы человек – это торжество бессмыслицы и смерти. Во имя чего не пролилась только кровь! Даже во имя Господа. Того, кто собирает людей в человечество, обездоленные призывают, чтобы крепче ненавидеть друг друга. И им удастся, они вмещают в душу ненависть, черную, как смола. Ибо душа обречена быть вместилищем – если не любви, то ненависти. Если не смысла, то бессмыслицы...

К чему это я?

Два дня назад я увидел на улице человека, который, дождавшись недолгого перерыва в дожде, приколачивал к стенке сарая на дворе шест с новеньким скворечником наверху. Закончив работу, он несколько раз пристукнул молотком по шляпкам крепко всаженных в дерево гвоздей и удовлетворенно погладил шест ладонью, как бы удостовераясь, что хорошо завершил доброе дело. Я шел в столовую на конец города и, с голоду, что ли, ужасно мерз, и поэтому сразу подумал, что вряд ли скворцы воспользуются гостеприимством этого человека. Уж больно коротко и промозгло здесь лето. Да и август уже – все птицы давно вывели птенцов, им улетать пора, а не искать для гнезда себе место...

Я остановился и спросил, прилетают ли скворцы в эти края.

– Нет, никогда не прилетают, – спокойно ответил он и, сунув в карман молоток, пошел к дому, не желая продолжать никчемный разговор.

Что же, бессмыслицей было деяние этого человека? Нет. Оно было его памятью о радости весны, принесенной на трепещущих крыльях скворцов из Индии и Персии, о радостном биении чистых, как родник, голосов жизни в саду родительского дома или в роще на краю давным-давно оставленного им городка, где птичий гомон перекачивается, как эхо, среди чуть-чуть запушившихся зеленью деревьев. Скворцы никогда не прилетят в его скворечник. Но сам скворечник – это его молитва о полноте, о весеннем половодье жизни.

О чем молится стрелок, нажимая на курок автомата? О смерти. О том, чтобы больше стало подобных ему, обездоленных, – потому что только они, выдранные с корнем из своей земли, потерявшие судьбу, способны разделять хлеб ненависти друг с другом. Здесь, в Нарьян-Маре, я по радио узнал о начале войны в Абхазии. Об ополченцах и «правительственных войсках», о бомбовом ударе, нанесенном по городу самолетами без опознавательных знаков. О том, что из автоматов расстреляны все обезьяны в Сухумском обезьяньем питомнике... Почему-то это особенно поразило... Я понимаю: после того, что случилось потом в Средней Азии и в Чечне, об обезьянах невозможно вроде бы говорить. И тем не менее. Гибралтарское

поверье, что город будет стоять до тех пор, пока в нем живут берберские макаки, наполняется неожиданным смыслом. Не станет обезьян – и город падет...

Почему? Нам не дано знать.

Но вот прошло время – и я оказался в командировке в Абхазии. Набитая пассажирами машина самокатом, экономя бензин, въехала в Гагры – а я даже не понял этого: так все изменилось. Ни человека на улицах. Ни киоска мороженого. Лишь молчаливый дворник с худой шеей сгребает в кучи листья эвкалиптов и в тишине возжигает их, как благовонные курильни. О прежних кофейнях на берегу моря напоминают разве что дыры в асфальте на тех местах, где прежде летом устанавливали полосатые тенты с бахромой. Ржавые остовы разбитых катеров и автомобилей валяются на пляже. Прежде цветущие поселки выжжены, покинуты людьми, одичавшие псы сношаются среди развалин. Прекрасные особняки стоят почерневшие от дыма пожаров, с провалившимися крышами, как гигантские термитники. Песчаник стен обнажился из-под штукатурки, словно камень понял, что время служения его человеку закончилось и ему хочется вернуться в дикую жизнь природы, в ее нескончаемый круговорот...

Это расплата. Не только за обезьян, но и за них тоже. Во всяком случае, за ненависть, избранную душою в поводыри.

Война начинается там, где люди хотят войны. Не знаю для чего. Может быть, чтоб пред лицом врага вновь почувствовать кровную сплоченность народа? Или чтобы вкусить запретную радость преступления? Или чтобы в боях отыскать достойных вождей себе?

Но только в самом ли деле есть в преступлении радость? В самом ли деле стали люди народом в результате этой войны? И появился ли у народа вождь, которому он мог бы верить?

Может быть, война начинается, чтобы люди в конце концов вспомнили о Боге, который творит из обездоленных человечество. Но как долго суждено ей длиться, чтобы люди исторгли проповедников ненависти из рядов своих? О, до этого далеко... Город еще не разрушен. Мужчины в пятнистых рубашках с закатанными рукавами и с автоматами в сильных руках только-только еще распалились, они исполнены радости бездумной и жестокой игры и еще не догадываются, что война не обойдет никого. Никого из них тоже. Что автомат – хорошая машина для убийства, но плохая защита. От смерти близкого человека. От холода, одиночества, отчаяния, бессмыслицы...

Пока еще лето, жарко. Полно овец в чужих дворах, вина в чужих подвалах. Еще кажется, что стоит выбить врага из-за плетня вон того виноградника – и все. Будет одержана победа...

Что противопоставить этому?

У меня с собою две книги: дневники Михаила Пришвина и сборник прекрасных рассказов Бориса Шергина о мастерах Севера: корабельщиках, судоводителях, сказочниках, плотниках, промысловиках. Ни один стоящий человек, кажется, не обойден его вниманием. Большая книга, неудобно таскать с собой, а пришлось купить: в Москве такую не найдешь, а книга удивительна. Именно размышлениями о человеческом предназначении. И у Пришвина то же: постоянное вопрошание о смысле жизни и через это вопрошание – поразительное погружение вглубь себя, в жизнь природы. Смыслы жизни – они как цветы в траве, хоть и не прячутся, но сплошь тоже не попадаются, чтоб человек их искал, вынужден был искать...

«...Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии. Промышляю словесный жемчуг... на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера...»

Шергин производит впечатление какой-то необыкновенной человеческой целостности, неразъятости. Нигде, в дневнике даже, не обнаружишь в нем никакой трещины, никакого излома, без которого немислим уже современный писатель...

А Пришвин очень мучился, прежде чем дошел до спокойного понимания себя и своей задачи, много испытывал, проверял себя – сближением с самыми разными людьми, путешествиями. У него много записей, особенно в молодые годы, которые поражают безысходным

внутренним драматизмом, следа которого нет в зрелости, когда это душевное мучение изжито. Вот такая, например, сделанная им в странствиях по Азии: «Нужно умереть от себя...» Все его молодые путешествия тоже умирание от себя, «ура́за» – по-киргизски – особый пост от всего привычного. В том числе и от привычного себя тоже: в путешествиях он много узнал о себе такого, что позволило ему потом исцелиться от боли, стать целостным человеком. В записях этого периода есть что-то для меня самого очень важное...

Вчера утром пошел на Печору, к порту, где заметил еще в день приезда старый дом. Почерневший, большой дом, с окнами, выходившими когда-то прямо на реку, но теперь уставленными в длинный забор портового склада. Мне интересно стало – есть ли кто? И непонятно. На крыше взялся расти мох и ромашки. Огородик не возделан, и только крошечная грядка с выпустившимися зонтиками укропа говорила о том, что в доме все же кто-то живет, доживает. И тут как раз в пристроечке отворилась низкая дверка, и из нее выглянула сухонькая старушка в белом платке. Я ее позвал, слово за слово – пригласила в дом, угостила чаем с морошковым вареньем, покормила семгой.

Стала рассказывать.

Про то, как давным-давно Печора разлилась, как моря, и она, со своим еще дедом, изумленная огромностью водного зеркала, плыла, будто летела, над лугами, над покосами, над зарослями прибрежных кустов...

«Дедушко, где берег-то?» Не было берега, только лодка скользит в прозрачной голубизне, дедка и внучка сидят в лодке...

Про мужа своего, что взял ее из деревни в город. Кажется, она и не задумывалась вовсе, хорошо они жили или худо, счастливо или нет. Просто жизнь была трудная, и они вместе преодолевали эту трудность, будто выгребали против течения. А поразительно стало ей, когда его не стало. И когда она поняла, что не было любимее, надежнее, роднее человека на свете...

Он на работу уходил на трое суток: бакены ставили и проверяли на реке, створы. Однажды собрался на вахту. Взял собранный женой мешок с едой. Попрощался. Вышел. Все как всегда. Но едва он дверь затворил, ее будто ожгло: тоска. Тоска по счастью, которого никогда больше не будет. Бросилась за мужем в портовую контору – нет его. На причал – нет. Судно ушло уже на Печору. А через три дня принесли его домой мертвого. Он незадолго как-то на голову пожаловался: что давит, болит. А так не жаловался никогда ни на что...

Подбила, навсегда сделала ее слабой на сердце смерть четырнадцатилетнего сына, которого она очень ждала и любила, пока рос, особенно, может быть, потому, что он в мать пошел – худенький, тонкокостный. И вот он покупался в Печоре, продрог, пока обсыхал с ребятами у костра, стал кашлять. И не могла вылечить, потому что ходила на работу, не могла ухаживать, только таблетки давала – и все. Когда забрали его в больницу, выяснилось воспаление легких, и стал он хужеть неделя от недели – потому что мальчик большой, положили во взрослую палату, а там мужики курят все время, ему нелегко. «Мне что-то плохо здесь стало, мама...»

– А потом карантин у них стал: привезли двух мужиков, с брюшным ли тифом, что ли, с Коткина. Я к главврачу пошла, чтоб забрать его, сколько лежит, а все его не вылечивают, а тут еще этот тиф... «Отдайте мне», – говорю... «Нет, – отвечает, – он тяжелый, мы не можем таких отправлять, такие отеки большие стали...»

Я смотрю: живот у него поднялся, все... Спрашиваю: «Дак он что, умрет сейчас?»

Умер. Месяц я не спала. На семь килограммов похудела...

Диктофон у меня, как назло, накануне сломался, кнопку записи приходится держать пальцем. Если держать полтора часа, то палец изнемогает до дрожи, ноет. Но я хочу понять, из чего сложилась жизнь человека, что памятно до старости, что самое главное в ней?

Ей приснился сон: край леса. И куст дикой смородины – весь красный, до того осыпан ягодами. Прошло время. Она поехала в Марицу, деревню, откуда родом, пошла в лес. И вот вышла на дувиху, на сенокос и обмерла: потому что увидела то самое место, из своего сна. Опушку ту и тот самый куст, весь красный от осыпавших его ягод. Край леса: много зеленого, провалы тени меж деревьев, травы качаются – и этот куст, сверкающий, как пламя...

Так что же было в жизни, если оглянуться вспять? Разлив Печоры в детстве, смерть мужа, поразившая ее невозможностью любить его дальше, смерть сына, сделавшая бесполезной ее материнство, – и этот сон, который сбылся.

Почему так, я не знаю. Но что добавишь к этому: «Дедушко, где берег-то?» Полые воды залили землю, птицам гнезда негде свить...

Послезавтра, нет, завтра уже – у меня вертолет. Я должен увидеть свой остров. Зачем-то. Зачем – я пойму уже после того, как увижу. Я не уверен, что делаю все правильно и наилучшим образом, но пока я создаю свой остров, собираю его из собственных мечтаний, книжных цитат и обрывочных рассказов о нем, я живу. Он должен сбыться.

«Создаю!» Я вновь прыгаю на плот гостиничной койки и засыпаю, укрывшись с головой одеялом...

Апология бессмысленных путешествий

Друг мой Петр, мой верный попутчик! Я хочу, чтобы ты знал, как появился остров. Как он становится необходимостью и встает из пучины серым оком не тронутого утренним солнцем пляжа, за которым, словно занавес, смыкается полог пышного леса, простирающегося до самых гор вдали. Или вот – проступает в тумане, пронизанном резкими голосами потревоженных чаек, полоской низкой бурой земли, разбегающейся во все стороны в какой-то торжественной безнадежности и бесприютности. Веришь ли ты, что это – один и тот же остров, остров моей мечты? Я и сам не пойму, лоя в кармане пуховки задубевшими пальцами коробок спичек, как совершилась столь разительная метаморфоза, я и сам еще в недоумении обшариваю взглядом безрадостный берег в надежде разглядеть хоть одно деревцо, хоть один холм, с которого можно было бы обозреть открывающуюся нам окрестность, – но ничего. Мы бредем в броднях по мелкой воде, проталкивая вперед лодку со снаряжением, заглушив мотор, чтоб не сломать винт. Вокруг на несколько километров – пространства такой же мелкой, тусклой воды. Туман, сквозь который тщится пробиться солнце. Вдруг с липкой глинистой отмели, что тянется все время по правую руку, не пуская нас к берегу, гогоча, кидается в воду огромная стая белошеких казарок – и я просыпаюсь. Ледяной туман, от которого лубенеет и делается неподвижным лицо, оказывается теплыми отблесками огня, потрескивающего в железной печке; отсыревшая одежда сушится на веревке возле трубы, коленом изгибающейся под потолком; возле двери вместо веника прислонены к стене два гусиных крыла, а на сколоченном из досок столе под маленьким оконцем – закопченная кастрюля, над которой клубится ароматный пар только сваренного супа...

Теперь, когда мы насытились, мой верный друг, и живительное тепло разлилось по всему телу и чайник пищит и гулко охает на печке, готовясь закипеть, я, пожалуй, рад был бы пофилософствовать, но сам понимаешь: крепкий горячий чай – это наилучшее философствование из всех возможных.

Крепкий, черный, горячий чай... Я молчу. Но я мог бы сказать! Следи за случаем, Петр, следи за случаем, юноша, ибо случай – отец судьбы. Усмехайся, усмехайся – но я знаю, что говорю. И я жил, полагая, что волен распоряжаться собою. И со мною происходили события, казавшиеся абсолютно случайными (как все в молодости, я думал, что мог бы прочитать другую книгу, или встретиться с другим человеком, или прийти раньше, или опоздать, и тогда то-то случилось бы, а того-то не произошло бы. Но потом оказывается, что ничего подобного: я должен был прочитать именно эту книгу (и, во всяком случае, именно ее прочитал) и встретился именно с тем, с кем повстречался. Взрослость вообще отличается от юношества тем, что стремится все случайности прожитой жизни выстроить в порядок необходимости: и так в один прекрасный день обнаруживается, что ты обставлен случайностями (необходимостями), как шахматный король, и, чтобы ускользнуть от мата, должен сделать совершенно определенный поступок. Скажем, отправиться на остров, с которым тебя ничего, ровным счетом ничего вроде бы не связывает...

Ты мне не веришь, а это воистину так. Поэтому я и говорю: следи за случаем, Петр! Следи, чтобы горячий чай не проливался тебе на штаны, ибо случай – зерно причинности, ждущее дальнейшего воплощения... Да-да-да, именно это я и хотел сказать: чем толще штаны, тем дольше и нестерпимее будет кипятик жечь твою ногу!

Случайно ли, что первой самостоятельно прочитанной мною книгой был «Робинзон Крузо»? Что проку гадать, раз так было? Первая книга не забывается, и я полюбил ее и, значит, полюбил остров. Ибо, как бы ни рвался домой Робинзон, в жизни его не было ничего лучше тех двадцати восьми лет, что он провел на острове, куда случай забросил его и который он вынужден был полюбить. Да, полюбить! И автор понимает это. Больше того, не отягощен-

ный всеми теми заботами, которые обременяли и печаловали Робинзона, он временами воспекает проникновенную хвалу острову, который предстает перед нами то развернутой цитатой из книги Бытия как твердь среди вод, то как земной прообраз Рая, то как метафора полной независимости и абсолютной свободы человека.

У острова есть своя поэтическая родословная, как есть она у гор, рек, пещер, гротов, возделанных полей и прочих мест, обладающих для человека особенной привлекательностью. Отьединенность, инаковость, замкнутость, тайна – вот первое, что приходит на ум, когда речь заходит об острове. Чувства, которые дарит остров, несоизмеримы с теми, что рождаются в уединении на вершинах гор, но от этого притягательность островов не ослабевает. Об этом прекрасно знают мальчишки и литераторы, и в этом мы с тобой ничем не отличаемся ни от тех, ни от других. Прежде всего нам следует почтительно склонить головы перед Р. Л. Стивенсоном, который вполне и в совершенстве выразил романтическую концепцию острова в своем «Острове сокровищ». После Дефо и Стивенсона Жюль Верну для усиления «таинственности» острова пришлось привнести в повествование фантастические детали, чем он соблазнил и увлек в сторону целую ветвь писательского рода, сделав своих последователей неисправимыми фантастами. Но остров, какое искушение!

У истоков традиции – «Одиссея» Гомера и «Энеида» Вергилия. Повстречавшиеся островитянину Одиссею острова не просто загадочны, они смертельно опасны. Одиссей – царь на Итаке, но над каждым островом, встающим на пути его странствий, царствует кто-то другой, каждый остров – царство, находящееся в полной власти своего властителя, не обязательно при этом человека.

В раннем Средневековье появляется еще один мотив: поиска, непреодолимого стремления к острову, затерянному где-то в пустыне моря и еще не открытому. Вектор движения бороздящего моря корабля направлен теперь не к дому, а от него, к неведомой земле, которая представляется землей блаженства. Эта земля заставляет долгие годы скитаться по морям святого Брендана Мореплавателя, которого и святым-то делает, собственно, его неутомимое странничество. Как и скитания Энея, его плавания уподоблены духовному деланию, бесконечной молитве. Впрочем, Брендан утверждал, что видел остров, на который спускаются ангелы. Возможно, он и в самом деле нашел его, хотя те из позднейших исследователей, кто поверил в реальность его духовных миражей, все же не смогли подтвердить, что такой действительно существует.

Получившие необыкновенную популярность в эпоху Великих географических открытий выдуманные описания выдуманных же путешествий, переполненные вопиющими небывальщинами, уродами, карлами, описаниями чудес или нелепых обычаев, в конце концов дали плоды в виде беспощадных сатир Свифта и Рабле, расселивших по островам своих карликов, великанов, гуингнмов и макреонов. Утопия – тоже остров и тоже целиком нафантазированный. Томас Мор написал сатиру наизнанку: образ идеального общества.

Но остров! Остров не может служить лишь сатире, даже если в ней упражняется такой мастер, как Анатолий Франс. Остров зовет художников и поэтов, таясь, как женщина, и, как женщина, мечтая быть открытым и воспетым. В 1843 году с борта американского китобойца на один из Маркизских островов бежит Герман Мелвилл – никому не известный автор еще не написанной книги «Моби Дик», который открывает в гигантской книге островов столь важную для нас тему бегства. Бегства от жестокого устава промысловой службы, бегства от мира, от пошлости человеческих отношений, необходимости принять буржуазные законы и обычаи, бегства от всего. Остров из средоточия опасностей превращается в территорию спасения, становится последней возможностью уцелеть, отыскать истинно человеческие отношения, прикоснуться к величию природы. Сначала для Мелвилла, потом для Гогена («Ноа Ноа»), потом для Рокуэлла Кента, которому в поисках подлинности приходится отступать все дальше

от цивилизации – к ледникам Гренландии, чтобы написать свою северную идиллию, «Саламину».

Бегство, и чаще всего бегство неудавшееся, рай, так и не обретенный, сокровище, так и не найденное, – ноты, которые окрашивают тревогой уже книги Мелвилла и Гогена, – в полную силу звучат в произведениях двух современных романистов, в которых магия острова задает невиданное напряжение действию. Это «Волхв» Дж. Фаулза, который через две тысячи лет после «Одиссеи» и «Энеиды» возвращает нас в Средиземноморье, где под спудом забвения и солнечного сна ждут своего продолжения и нового воплощения древние мифы и классическая история беглеца, попавшего в ловушку острова в романе «Восток есть Восток» американца Т. Корагессана Бойла.

Во всяком случае, я полюбил остров как идею раньше, чем впервые побывал на каком бы то ни было острове.

Так случай уловил меня в первую ловушку. Скоро я попался и во вторую: мечту совершить путешествие. В этом тоже нет ничего особенного, все мальчишки мечтают путешествовать. Причем, заметь, именно путешествовать – подвергать себя опасностям, ползти, идти, изнемогая от тяжести или жажды, измерять собою пространство, породняясь с ним и отдавая ему, по закону родства и силы, и отчаяние, и восторг свой, чтобы взамен получить нечто, чему я даже не знаю имени, но обладателями чего никогда не станут туристы, как из аквариума, глядящие из автобуса на достопримечательности Москвы, Парижа или Лондона. Пространство одарит тебя неисчислимыми богатствами. Пространство сделает тебя человеком...

Но где справедливость? За пять веков, минувших со времени Колумбовых открытий, Земля до такой степени изведена, истоптана и с кропотливейшей серьезностью описана тысячами людей, которым повезло родиться раньше, что у нас, кажется, не осталось ни малейшего шанса пережить восторг первооткрывателя, впервые ступившего на безвестный берег. Отчаяние! Все современные путешествия своей нарочитостью напоминают знаменитую прогулку в лодке трех героев Джерома К. Джерома и в этом смысле сугубо литературны. Но если смириться с этим, то что за беда? Вырастая из мира книг, путешествие в него же и возвращается: это особый жанр литературы или кино, и ничем иным сейчас оно не оправдано перед человечеством. Все современные путешественники прекрасно понимают это – и команда Кусто, сделавшая своим домом корабль, само имя которого звучит как Гомерово эхо – «Калипсо», и Р. Месснер, в одиночку покоривший Эверест, и М. Сифр, обитатель темных пещерных глубин. Все они должны отчитаться перед человечеством в том, что им довелось пережить, иначе люди отвернутся от них как от скупердяев, присвоивших себе общее богатство. Они должны вернуть людям тайну.

Два или три столетия подряд ученые только тем и занимались, что составляли и систематизировали гигантские описи всего, что только есть на Земле. И вот все стало известным. Все стало, более того, доступным. И тайна исчезла. Кого остановят сейчас Геркулесовы столпы? Кто скажет, что за туманом у берегов Норвегии нет больше «ни земли, ни неба»? Сама Сахара сдалась человеку, превратившись в гигантский автополигон ралли Париж – Дакар, сама амазонская сельва оказалась беспомощной перед титанической техникой, которая рвет ее на куски, сдирает с земли, добываясь до недр, до залежей оловянных и марганцевых руд...

Утрата тайны невосполнима. Но знаешь ли ты, что значит имя «Калипсо»? «Та, что скрывает». Путешественники XX века ищут не разгадок, а загадок или, на худой конец, приключений на свою голову, чтобы спасти человечество от кошмара всеведения и самодовольства. Над тем же, мой друг, колдуем и мы, добровольно перенесаясь из столицы на край отдаленной глинистой отмели, чтобы оставить на ней отпечатки наших сапог.

Я давно запутался в своем чайном философствовании и сбился с пути разговора. Я говорил о случае. И тут вот такая связь: начитавшись книг, я сам мечтал отправиться на край света, но не знал – куда. И тут мне попался географический атлас с белыми пятнами: что это, как не ловушка случая? Настоящие белые пятна – это было потрясающе! Всё сразу обрушилось на меня: неизвестность, надежда, вызов. Обещание небывалого, дьявольский иску́с – все, что ни случится там, случится только с тобой, подлинность всех ощущений гарантирована, никаких туристических суррогатов, никакой телевизионной подмены...

Вообще-то это был старый, чрезвычайно добротный немецкий атлас мира 1927 года. Карты Европы, Африки, Океании, особенно земель и провинций, на которые Германия могла бы претендовать как на бывшие свои владения, были оттиснуты на бумаге с такой окончательной и не подлежащей никакому сомнению подробностью, что казались гравюрами искуснейшего мастера-миниатюриста. Но вдруг – исчезали тонко прорезанные сечения рельефа, линии утрачивали определенность, обнаруживая ученическую неуверенность картографов. Вот приблизительно, точками, обозначена линия морского побережья. Реки – одни только устья, далее пунктиром. Озеро – огромное, раз в пять больше Женевского, самого большого в Европе, – обведено какою-то совершенно предположительной линией. Больше – ничего. Белизна. Неизвестность. Таймыр: четыреста тысяч квадратных километров неизвестности.

Я понимал, конечно, что 1927 год давно миновал и все без исключения пробелы на популярны́х картах уже заполнены. Но если атлас и был необходим случаю, то лишь для того, чтобы задать курс: норд. Все-таки север есть север, ни один толстожопый турист со своей проклятой видеокамерой не сунется сюда, чтобы запечатлеться на фоне «достопримечательностей». Слишком суров Север, чтобы человек мог позволить себе здесь праздное самодовольство. Слишком огромен, чтобы здесь могли оставаться неизменными масштабы наших забот и поводов для волнений. Ибо воистину мал человек здесь и огромны обступающие его пространства, неисчислимы озера, глубоководны реки и неподвижно-холодны болота...

О Севере я ничего не знал. Я был репортером отдела новостей в газете, и единственное, что меня отличало от собратьев – и отличало, безусловно, в худшую сторону, так как все сильнее мешало работать, – это навязчивое желание совершить собственное путешествие. Я задыхался в газетных сплетнях. Я стал ненавидеть их. Я искал спасения в картах, как заклинания проговаривая экзотические топонимы: горы Бырранга, 1146 метров, ледники. Таймыр. Слишком сложно для человека, не обладающего никакими экспедиционными навыками. Водопад Саханина. Звучит красиво. Если спускаться вниз по реке, то километрах в восемнадцати будет балок. От него дорога. Но это – Новая Земля, гигантский архипелаг Минобороны, Зона, полюс недоступности... Губа Колоколова, маяк, Чаичьи острова, поселок Нижний Шар – нежилой. Какое-то потрясающее месиво из земли и воды, верховых болот, морских отмелей, озер и речушек. Ни тропы, ни пристани, ни жилья, ни людей – сотни километров холодного песчаного пляжа. Вот он – край мира...

Я был исполнен неуверенности в собственных силах и непонимания того, каким образом отмыкается это пространство. Но тут случай вновь выступил обольстителем – я попал на Соловки. Соловки очаровывают ведь, и человек, впервые попавший на Север через Соловки, да еще в хорошее, погожее лето, – он, конечно, человек околдованный, больной, совершенно не понимающий реальности того, что открывается ему. Скрученные ветром, как на японских рисунках, сосны, трогательные мелкорослые березы, заросшие цветами луга, боры-белошники и открытые пространства тундры, из рыжей шкуры которой, как заскорузлые наросты, проступают валуны, обкипевшие желтым и серым лишайником, – все, вплоть до отражений заброшенных храмов в темной озерной воде и дрожащей лесной тишины, сопутствующей человеку, скользящему в лодке по водам каналов, прорытых когда-то монахами вглубь острова, – все принимает очарованный за чистую монету, думая, что это и есть Север.

То ли телевизор приучил нас к этому, Петя? Замки Франции, карнавал в Рио, жизнь мангровых зарослей Борнео и ночной африканской саванны – все стало доступно и сразу обесценилось. И уже не видишь, не можешь понять, что Соловки – это место особое, что Савватий и Зосима не вдруг причалили лодью свою к этим берегам, что здесь прекрасное спрессовано до невероятной плотности, будто эту щепоть Земли Господь монтировал как фильм, из одних лишь чарующих видов, словно специально созданных для созерцания и молитвы. И нет здесь случайного вида, нет постройки, которая бы окнами глядела в пространство зряшно, нет храма, который не красил бы собою горку, островок или тихий морской залив. Конечно, Соловки – это яхонт голубой, за пять веков человеком отполированный до небесной чистоты, и не может быть весь остальной Север таков же, хоть, может, в иных местах летними ночами и полыхает небо, как хвост жар-птицы, и так же лишится камень в тундре.

И вот, ничего этого не умея понять, едва сойдя с теплохода в Архангельске, сразу же в порту я поспешил к расписанию поглядеть: куда бы мне отправиться еще? Ибо после Соловков вопрос казался решенным: Север был самым сильным впечатлением в моей жизни – и, значит, сюда мне и надлежало стремиться. Куда в точности, я не знал, но мне понравился рейс теплохода «Юшар» из Архангельска в Нарьян-Мар с заходом на остров Колгуев. Всего сутки шел до острова теплоход, оставляя по борту на материке почти первозданно-дикие места. Но я подумал, что остров – не такой уж маленький остров в Баренцевом море – это как раз то, что мне нужно...

Чем хороша мечта? Тем, что сбывается не сразу. Она живет в глубине сердца, согревая его надеждой. Я вернулся в Москву. За суетой я быстро забыл про остров. Но случай уже сделал свое дело: оставалось теперь просто ждать, когда я исполню то, что мне предначертано.

Верь судьбе, Петя, и подкинь дров в печь! Дрова потрескивают, огонь веселыми кудрявыми стружками отлетает от поленьев и гудит в трубе: это сбывается то, чему было суждено.

Поверь, я тянул время, сколько мог. Я попытался бросить репортерство, уехал на Камчатку и завербовался в промысловый рейс матросом-обработчиком. В последний день перед отплытием я сбежал с корабля на берег, испугавшись...

Я убеждал себя, что потрошить рыбу в трюме ржавой плавучей фабрики – совсем не то, что плыть на корабле Лаперуза, и в этом был прав. Но – странное дело – неумение, да, как выяснилось, и нежелание что-либо менять в своей жизни удручающе и гнетуще подействовали на меня. Оказалось, что я ничего не умею, кроме того, что должны уметь журналисты. Иначе говоря, звонить по телефону, добывать новости и комментарии, курить, пить кофе, болтать обо всем с видом человека, которому известно это все или даже чуточку больше, и видеть мир раздробленным на клеточки пригодных или непригодных для публикации сюжетов... Я вернулся домой совершенно разбитым. Я не знал, как осуществить свою мечту.

Прошло несколько лет. В моей жизни все разладилось. Я развелся с женой. Я пытался совершенствоваться в ремесле, устроился в самую престижную газету того времени, писал серьезные статьи. Начальство хвалило меня, но мне становилось страшно от собственной серьезности, от языка, который даже на бумаге, казалось, звучит с какими-то нудными старческими интонациями...

Люди, присылавшие отклики на мои статьи, никогда не давали мне меньше сорока лет, а мне было только двадцать семь.

Я понял, что состарился и умираю. Ужас сковал меня.

И вот в одну из ночей, когда мы с приятелем сидели на кухне, спасаясь от страха вином, я принялся рассказывать. Я призвал не отчаиваться: ибо у нас есть еще шанс прожить жизнь по-человечески. Остров. Надо отправиться туда. Надо все это увидеть: гору Паарков, озеро Кривое, речку Гусиную, священные холмы...

Мой друг слушал меня внимательно. Потом поднял отяжелевшие веки и посмотрел мне в глаза:

– Все это фигня. Нет такого острова...

Что было толку спорить? Я раздобыл крупномасштабную карту и разглядел остров своей надежды внимательнее. Он сразу привлек меня завершенностью формы: почти круглый, слегка подмятый с боков, как стершаяся старинная монета. Зелененький: низменность. Действительно, несколько речек, озера, холмы. Странные открытые песчаные участки... Все, что нужно для маленькой модели мира.

На юге и на востоке, подобно двум слабым клешням, с моря остров прикрывают длинные песчаные косы – Плоские Кошки. На южной Кошке обозначена изба – промысловая, что ли? Вдруг страшно захотелось очутиться там, в этой избе, между землей и небом, когда вокруг ничего не видать, кроме сурового моря, и ничего не слышать, кроме криков птиц... Мне хотелось забиться туда и оставаться там неделю, месяц... Сжаться. «Умереть от себя».

Мне хотелось убежать туда навсегда – тогда как надо было всего-навсего поехать. Ты не поверишь, но прежде, чем это произошло, прошло еще два года. Кто после этого скажет, что Одиссей, девять лет проведенный в плену своей нерешительности у нимфы Калипсо, не родственник нам по духу сомнений?

Мне хотелось отправиться на остров с кем-нибудь, и казалось, что я легко найду себе попутчика. Действительно, большинство знакомых с восторгом реагировали на предложение поучаствовать в настоящей северной одиссее. Вопросы начинались потом: а что мы увидим? Что там есть? Можно сделать фильм? Фоторепортаж? О чем? О чем, кроме природы?

Я не знал ответов на эти вопросы. Я очень многого не учел. Не учел, что время путешествий «просто так» закончилось. Поэтому многим затея с островом представлялась сущей бредятиной и пустой тратой времени. Действительно, они не обязаны были думать так же, как я. А тут еще грянул августовский путч, и внимание и пишущих, и читающих было всецело поглощено событиями, которые из 1991-го потянулись к 1993-му и дальше. Поэтому все мои попытки отвлечь внимание коллег на какой-то остров только раздражали их.

Кончилось тем, что одна замечательная журналистка, с которой я вместе работал в «Литературке», выслушав одну из подобных жалоб, беспощадно усмехнувшись, сказала:

– Ты так долго болтаешь о своем острове, что, пожалуй, никогда на него не попадешь... В этот момент я прозрел.

Я позвонил в Архангельск и узнал, что теплоходная линия Архангельск – Нарьян-Мар упразднена. Билетов на самолет до Нарьян-Мара, как назло, не было. Еще был вариант на поезде – до города Печоры, а оттуда до Нарьян-Мара на теплоходе вниз по реке – самой древней дорогой, которой шли когда-то на север первопроходцы...

Я купил билет и отправился. Один. Без подготовки – что потом сказало, конечно. Так, у меня был с собой немецкий молотый кофе Alvorada, на деле оказавшийся грязным, пережженным, ни на что не годным порошком, и сигареты Gitanes без фильтра – в этом смысле я был экипирован ничуть не хуже супермена из рекламного ролика сигарет «Кэмел». Но вот зимнюю куртку я с собою не взял, думая, что отделаюсь толстым свитером и штормовкой...

Понимаешь, все это глупо, но я почувствовал, что... Что в другой раз, может быть, и не решусь и так и останусь навсегда высококвалифицированным сплетником прогресса. Я никогда не совершу своего путешествия, никогда не скажу своего слова и даже не узнаю, какое оно...

Знаешь ли ты, что значит сказать свое слово, Петя?

Петя!

Да ты, друг мой, никак давно спишь?!

Спи. Я добыл этот остров. Добыл один, и теперь вот, как хлеб, разделяю его с тобой, дарю тебе – с бурыми глинистыми отмелями, словно дно первобытной Земли выступающими из моря в отлив, с бесчисленными стадами гусей, с его реками и ручьями, прошлогодним снегом и ложбинками между сопок, голубыми от незабудок, со всеми восторгами, которые способен вдохнуть он в душу, и со смертельной усталостью, которая подступает и окутывает, словно тьма, хотя летом здесь не бывает ночи. Ты спишь – и, значит, принимаешь дар. Отныне остров станет частью твоей судьбы, может быть, даже – кольцом, связующим тяжелую гроздь ключей от разных дверей в разных концах этого мира...

Петр

Друг мой Петр, мой верный попутчик! Тебе пристало бы знать, как ты возник в этом странном сцеплении обстоятельств, как ты стал частью замысла: не моего только, нет – а того замысла, частью которого стали мы оба, для выполнения которого мы и встретились. Теперь, когда столько лет прошло, я понимаю, что ничто, даже промедление мое, не было напрасным. В промедлении время испытывало мою решимость. Время растило мне спутника.

В том, что им оказался именно ты, сын моего лучшего друга, географа Миши Глазова, нет, возможно, ничего странного. Не совсем ясно только то, как именно обстоятельства предопределили наш выбор, делая его необходимым, то, как из всей массы возможностей оказалась действительно возможной только одна, да и то не та, что ты, то есть я, имел в виду в первую очередь. Да и ты, полагаю, не дал бы и пары дохлых навозных жуков за то, что именно я окажусь твоим первым экспедиционным, с позволения сказать, начальником.

Прости меня, дружище, но ничего не поделаешь: когда мы познакомились, тебе было лет девять, мне, соответственно, на семнадцать больше. Разница довольно большая, чтобы возникло ложное представление о непреодолимой дистанции, разделяющей нас. Где это было? Вспоминается почему-то Валдай, старый, довоенный еще кордон лесничего, обжитый Мишей: дом, крепкий бревенчатый сарай и баня, наполовину спрятавшаяся в траве, могучие ели, вплотную подступающие к дому, обрывистый берег и ступеньки, сбегające прямо к речке с чистым песчаным дном и ледяной прозрачной водой...

Да, пожалуй, мы и встретились впервые на Валдае, в доме твоего отца и, соответственно, в его мире, мире твоего детства, мире рода. Рисунки бабушки (твоей) карандашом: глухарь, запрокинувший голову на ветке сосны, в сумраке глухого бора в предрассветный час; ком света, нарастающий за темным рядом леса; ком, еще не округлившийся, не сгустившийся в солнце, но уже переставший быть рассеянной рассветной пеленой... Прекрасный рисунок! А вот другой: волк, издали глядящий на кордон. Сумерки. Одно окошко освещено: там, верно, рядом горит на столе керосиновая лампа. Электричества на кордоне не было, и когда подступала ночь, зажигали керосиновые лампы, и в доме разливался чудный, теплый, золотистый свет, длинные тени скользили по стенам, по складкам одежды, пропахшей лесом, потом, дымом, по книжным полкам со справочниками, стопками карт и полудюжиной любимых книг, из которых я запомнил только «Песчаное графство»; на столе микроскоп, весы в футляре... От лампы особым шиком считалось прикуривать, я помню. Курили в печку, глядя на расплавленные алые уголья с пробегающими по жару голубыми огнями...

Еще рисунок: те самые ступени, обрывающиеся к воде, к прекрасной лесной речке с перекатами и омутами, в которых стояла быстрая серебристая плотва с красной крапункой в глазу; лучи света, пронизывающие толщу воды до самого дна, до мелких разноцветных камешков, поверх которых ложились узорчатые тени тяжелых еловых лап, листьев рябины и дрожащая кисея берез...

О, я вспоминаю! Мы ныряли.

Мы спустились на берег к омуту. Я знал, что мне надо, не выдав своей робости, смело броситься в ледяную воду, потому что ты был сыном своего отца, Петька, и ты тоже проверял, как мальчишка проверял – кто чего стоит. Я всегда любил очищающие лесные ванны, но именно как ванны, как мгновенное погружение в холодную воду, кипящую пузырьками захваченного с поверхности воздуха, но, когда ты вынырнул рядом и, едва разлепив мокрые ресницы, спросил: «Ну, а до того бревна ты донырнешь?» – приглашая и дальше резвиться в этом ледяном потоке, я поспешил воспользоваться своим правом взрослого быть вечно занятым и, сославшись на дела, выскочил на берег, ловя на себе твой слегка насмешливый взгляд...

Да, мы были взрослыми, мы познали проклятье сизифова труда, не совершив ни подвигов, ни злодеяний Сизифа: тупо, не размышляя, катить и катить в гору камень жизни. Ты же целиком принадлежал еще волшебному миру детства: миру реки, вод ее, янтарных пятен света, серебристых рыбок в тени под берегом... Ты знал исток: озеро, старый, еще монахами построенный шлюз, лебедку, массивные шестерни, похожие на примитивный часовой механизм, щель слива внизу... Ты, верно, думал иногда, что будет, если лебедкой поднять дубовый затвор шлюза и пустить в лес вал озерной воды? Признайся, думал; я и сам мечтал иногда услышать, как задрожит и загудит лес, когда вода устремится в него, срезая узоры береговой линии, кропотливо выкроенные медленным течением... Но что стало бы с миром? Ты не знал; ты знал начало, но не знал конца. Не так ли и все мы? Ну, конечно... Только притворяемся, что знаем что-то наверняка, почему-то боясь сознаться, что все так же неясно, как в те годы, когда детьми мы заворуженно озирались вокруг. Великая тайна детства... И какая благородная оправа ей: эта река и лес, полный храмового величия древесных колонн и великолепия мхов; полный извечного прибойного шума, запахов, птичьих трелей и прочих пугливых звуков, которыми выдает себя тайная жизнь леса: колючим шорохом белки в вершине отяжелевшей от шишек ели; легким шагом поднявшегося с лежки потревоженного лося; отдаленной дробью дятла или тем похожим скорее на тень, чем на звук движением, с которым исчезает в низких береговых зарослях волк, издав далеко наблюдавший за жизнью людей на кордоне...

Где было твое убежище в этом лесу, твой любимый угол, который есть у каждого мальчишки? Я не знал. Однажды на горячий, пахнущий муравьями песчаной обочине лесной дороги ты показал мне, как охотится муравьиный лев: странная невидимая тварь, зарывшаяся в песок на дне неглубокой воронки. Я увидел большого красного муравья, с хвоинкой во рту случайно оказавшегося на краю этой невинной с виду лунки, и тут дно ее задрожало, как будто там открылся крошечный вулканчик, и в муравья ударила струйка песчинок, вместе с которыми он покатился на дно. Он хотел было бежать, но не тут-то было: песчинки упрямо брызгали в него, скатывались вниз, вместе с собою и его увлекая все ближе к центру воронки, откуда вдруг – буквально на миг – высунулось огромное по сравнению с муравьем существо песочного цвета, схватило муравья массивными челюстями и вместе с ним снова ушло под землю...

Я был поражен. Ты – очень доволен этим. Я вспомнил, как мальчишкой сам радовался, когда мои секреты... даже трудно объяснить: они действовали на взрослых так, словно те никогда не бывали детьми... И я не мог, разумеется, поверить тогда, что сам позабуду большую часть неописуемых знаний детства, которыми владел безраздельно...

Когда я впервые на свой страх и риск отправился на Остров, тебе исполнилось четырнадцать. Следовательно, если я буду рассказывать о своих приключениях, то ты вспоминай то лето, когда ты жил один в старом отцовском доме: жил долго, вечность, месяц (приехав случайно с Мишкой, мы обнаружили следы колоссального, немыслимого труда, непосильного взрослому человеку, поскольку тот все же подвержен чувствам усталости или сибаритства: дом был весь перелицован изнутри, на залитом солнцем подоконнике лежали молоток, несколько выпрямленных гвоздей и клещи). Случайно мы приехали, случайно я запомнил эти предметы, обмен приветствиями, тебя – почему-то в зарослях крапивы, глядящего из-под козырька армейской шапки из полинялого х/б настороженно и, пожалуй, слишком красноречиво: «Зачем, зачем вы приехали?»

В то лето мы не были нужны друг другу. Уж мы-то, во всяком случае, тебе не были нужны. Страннейший возраст, четырнадцать лет: вчерашний ребенок вдруг понимает, что стоит на самом пороге взрослого мира. Более того, внутри себя он убежден, что уже взрослый, но не уверен, что другие поверят в это: может подвести ужасный, трескающийся, лающий голос, недостаточно развитая мускулатура, а главное, свежая память других о том, что он (ты) совсем еще недавно был ребенком. Ничто так не ранит в это время, как напоминание о том, что кто-то помнит тебя «вот таким».

А мы как раз были из их числа.

Нам хватило ума разойтись параллельными курсами; ты жил как жил, утром купался, варил гречневую кашу, ел, потом брал молоток... Молоток стучал не переставая, словно ты не строил, а сокрушал, сокрушал стены, укрывающие тебя от взрослости, огромностью своего труда пытаешься заставить других – отца, брата, друзей отца – считаться с тобой. И считаться на равных. Может быть, тогда это в полной мере и не удалось тебе, но я, во всяком случае, запомнил странность и молчаливый драматизм превращений, которые совершались с тобою: уже не мальчиком, еще не юношей... Большим молчаливым мальчиком, столь мало похожим на того, что я знал когда-то... Вечером ты шел к старику. Старик перебирал сети, корявыми пальцами сухую прилипшую чешую выбирал, черную траву озерную, иногда засохшую рыбку, блестящую, как блесна. Зеленый закат тускнел, когда его «кутька», лодка, выдолбленная из осинового ствола, из прибрежной тени выныривала на зеркальную гладь озера: старик рыбак был, с весны начинал томиться, перебирать, словно парчу, сети, старые чинить, новые плести, позвякивать кольцами, причитать: «Отпустите дедку в море...» Рассказчик был великий, актер, сказочник, балагур. Ты все с ним был в то лето, нас сторонясь, сторонясь даже сверстников, жадно пил его мудрость. Впервые тогда я позавидовал тебе: и этой особой близости к старику, и характеру, который схватывался и твердел на глазах благодаря незримому присутствию отца. Я выросл без отца: неумело, бездарно. Отец дал мне силы, но не научил распоряжаться ими. Чтобы научиться упорству – обычному мужскому *упертому* упорству, – у меня ушли годы, а у тебя одно лето: когда ты жил на кордоне один, жил, просто копируя отца, которого, за исключением тех двух дней, и рядом-то не было...

Вот эту-то упертость я и вспомнил через пару лет, когда стал собираться на Колгуев вторично и обнаружил, что ни один человек из всех, кто когда-либо, увлеченный моими рассказами, выражал страстное желание отправиться со мной на Север, никуда не поедет. Я предвидел это и никого не винил: восхищение было искренним, и слова не были лживыми, просто прошло слишком много времени... У людей накопились дела... Но вот предательство одного моего приятеля, практикующего нарколога и злостного авантюриста, едва не надломило меня, поскольку на него я, признаться, рассчитывал. Я в *принципе* пробил свой план в редакции «Огонька», убедил редактора, что мне необходим компаньон, которому редакция выдаст командировочное удостоверение и выпишет деньги наравне со мной. Недоставало малости: редакции – денег, которые зависли где-то на полпути от банка к редакционной бухгалтерии, мне – компаньона, которого я мог бы представить в подтверждение серьезности своих притязаний. В этой ситуации *возня* вокруг экспедиции (закупка кое-какого снаряжения, фото пленки, хотя бы нескольких банок консервов) могла бы, по законам симпатической магии, сдвинуть дело с мертвой точки: что бы там ни говорили, всякое дело любит *возню* вокруг себя, и посему *возня*, по-моему, совершенно обязательна для успеха. В этот решительный момент я позвонил своему приятелю, чтоб он хоть очистил как следует спирт, который мы повезем с собой, но он вдруг сделал вид, что никакого разговора у нас не было:

– Какой Колгуев?! Я в Германию еду...

Особенно поразило зазвеневшее в голосе внезапное раздражение. Когда я повесил трубку, меня всего трясло. Ну конечно, конечно... В Германию так в Германию... Хотя никто никому не обязан... Остров – моя личная проблема, и мне не навязать ее другим. А что до изъяснения намерений, то надо же мне было быть таким простаком, чтобы поверить словам, сорвавшимся с языка в минуту увлечения...

Мне снова предстояло отправляться на остров одному. Не то чтобы это так уж пугало меня, просто один я не мог совершить то, что сам же и придумал. Одного себя мне было мало: без попутчика ничего не клеилось, не клеился с самого начала образ экспедиции. Экспедиция из одного человека? Звучит одновременно и ущербно, и претенциозно. В конце концов, экспедиция – это тоже своего рода театр, в котором одному не справиться с необходимыми ролями.

Кто будет вторым?

Второго не было.

Не знаю, почему в эти дни я опять оказался у вас на Валдае. Ты был здесь. Я встретился с красивым, сильным шестнадцатилетним парнем, совершенно самостоятельным, выросшим в семье, где съездить в экспедицию было делом чести... Меня всегда поражало, что старший Глазов в свои четырнадцать лет два месяца проплавал юнгой на мэрээске³ Кандалакшского заповедника по Белому морю: не то даже поражало, что мальчишка-семиклассник два месяца делил со взрослыми все возможные испытания похода, а то, что родители отпустили. Все-таки Кольский полуостров не Крым, как его ни крути... Твоя бабушка, Петр, эта статная молодая женщина на старой фотографии, стоящая с букетом ромашек в руках и белым венком на голове, была безрассудно, прекрасно смела... Так же смела, как твоя мать, Петя...

Вывод напрашивался сам собой, но, видно, что-то еще должно было повернуться в моей голове, чтобы все встало на свои места. Ты можешь не поверить, но это произошло, когда мы с тобой на мотоблоке возили навоз из бывшей совхозной ямы, расхищая. Ширь неба, рериховские облака, похожие на воздушные крепости, изумрудные холмы, свежий, вытрезвляющий запах слежавшегося, темного, перемешанного с соломой навоза – все это невольно придало нашему делу какой-то богатырский размах и своего рода азарт, наваждение скарабея, священного жука древних египтян, из вечности в вечность перекатывающего шарик навоза, как солнце по небу; шар расплавленного золота, огня, света... Не камень, заметь, не проклятый камень Сизифа, а шар целесообразного усилия, шар плодородия и надежд! Миф о Сизифе, проникнутый индивидуализмом и болью титанического страдания, не мог зародиться в Древнем Египте, хотя кому бы, казалось, как не строителям пирамид, знать о бесконечности человеческого усилия, питающего жизнь в ее восхождении к смерти? Но разве усилие – наказание? Это доля. Усилие скарабея бездумно и легко. Оно бесконечно и священо: покуда навозный жук катит в норку шарик навоза, солнце будет катиться по небесному своду, проливая свое золото на землю...

Пару раз, наметав в прицеп чуть больше навоза, чем было по силам увезти нашему тракторишке, мы начинали буксовать на горке, после дождика склизкой от жидкой грязи: колеса беспомощно проскальзывали, и тут нам приходилось спрыгивать и с двух сторон изо всех сил толкать и прицеп, и тракторок, чтобы не дать им сползти в придорожную канаву. Определенно, был какой-то восторг в этом необыкновенном напряжении сил, в попытке одолеть силу земного тяготения:

– И-и р-раз! И-и р-раз!

Колеса мотоблока цепляются за крошечный отрог гравия, просыпанного на дороге, и тракторишко, истошно ревя своим двухтактным движком, начинает упрямо, как жук, карабкаться по нему наверх... Вдруг, взглянув на тебя, я все понимаю. Понимаю, что зря и глупо дергался, ища себе попутчика, ибо лучшего мне не найти. Ибо поистине счастлива экспедиция, в составе которой есть если не пятнадцатилетний, то хотя бы шестнадцатилетний капитан! И как прекрасны роли, задаваемые этим возрастным раскладом!

Мне нужен был друг, чтобы осуществить свою экспедицию; а тебе нужна была экспедиция, ибо человеку по фамилии Глазов после десятого класса полагалось бы уже поучаствовать в чем-нибудь таком. Тем более что отец в то лето уходил в трансарктический рейс на «Академике Федорове», а брат отправлялся по гранту Гумбольдтского университета на Командоры. Тебе надо было чем-то крыть. Так мы и встретились, так и сравнялись с тобой, друг. Друг – это всегда возможность удвоить силы там, где собственных сил не хватает. Друг – это тот, кто готов разделить с тобой твоё призвание. Друг – это дополнительный цилиндр в моторе. Это надежда.

³ Мэрээска – от аббревиатуры МРС – малое рыболовное судно.

Когда я объявил в редакции, что нашел себе спутника, которым будет шестнадцатилетний капитан Петр, главный редактор «Огонька», добродушно улыбнувшись, на всякий, как мне показалось, случай спросил:

– А ему уже исполнилось шестнадцать?

Я подумал, что он опасается трудностей с оформлением документов, и заверил редактора, что все в порядке, паспорт Петр недавно получил.

– Я не подпишу ему командировку.

Тихий, спокойный голос. Узкое лицо с полоской тонких губ, хладнокровное, почти бесстрастное, глаза до поры опущены, чтобы вдруг в упор пронзить меня ледяным холодом, не оставляющим сомнений в том, что этот человек прекрасно понимает, о чем говорит. Я чувствую, что попал в засаду. Это очень осторожный человек. Осторожный, как контрразведчик. Его осторожность безгранична и способна разрушить все мои планы, ибо то, что я читаю в его глазах, есть приговор: редакция *не должна быть никаким боком причастна* к этой затее, если она обернется какой-нибудь неприятностью...

То есть если мы, к примеру, погибнем. Ведь такое возможно? Возможно. Разобьется вертолет, лодка опрокинется на переправе, какой-нибудь заблудившийся белый медведь случайно выйдет на нас... Меня и самого в иное время бросило бы в жар от этих гипотетических опасностей, но у меня было слишком мало времени: нужно было найти слова, способные немедленно и радикально успокоить главного редактора.

– Я говорил с его отцом... Он готов написать письменное заявление, что даже в самом крайнем случае не будет иметь к редакции никаких претензий...

Это успокоило редактора. Холодный огонь в его глазах погас, веки опустились:

– Я не подпишу ему командировку.

Точка.

Вечером я позвонил в Нарьян-Мар друзьям. Сказал, что дело опять зависло и, похоже, приеду я все-таки один. Совершенно случайно выяснилось, что Колгуев почему-то перестал быть режимной территорией. Значит, Петке не надо оформлять пропуск в погранзону. А значит, не обязательно и выписывать командировку. Паспорт, чтобы купить авиабилет, у него был, а у меня были кое-какие деньги на дорогу. Так что остановить нас ничто не могло.

Женщина, которую я оставлял с последними двумя сотнями долларов, была моей возлюбленной и матерью моего ребенка – пойми это, Петр, и оцени глубину ее мудрости: она тоже могла бы думать о «неприятностях», которые могут случиться со мной, а затем и с нею, но она думала о счастье, что ждет нас по ту сторону похода, о силе и сокровищах, которые я принесу оттуда. Она верила в меня.

Когда-нибудь я расскажу тебе про нее и тогда открою, Петя, за чем мы в действительности ходили. Мы оказались очень разными людьми с тобой. Это было ясно изначально, но со временем у нас появилась возможность приглядеться друг к другу внимательнее. И я не разочаровался в тебе. И ни разу не пожалел, что именно ты оказался со мною. Ты был силен и вынослив. Ты ни разу не попрекнул меня, что я вовлек тебя в бессмысленное предприятие. Больше того, я знал, что тебе интересно: это было важнее всего. И еще я всегда знал, что ты рядом. Знал, что, если мне станет совсем хреново, я не скажу тебе, но ты будешь рядом.

А это было немаловажно после первого похода.

Потому что путешествие в одиночку мне не то чтобы не понравилось... Просто оно оказалось гораздо более трудным и беспощадным делом, чем я мог представить себе. И потом, оно слишком еще походило на бегство...

– На что? – спрашиваешь ты насмешливо, как всегда, когда до конца не понимаешь.

– На бегство, на бегство...

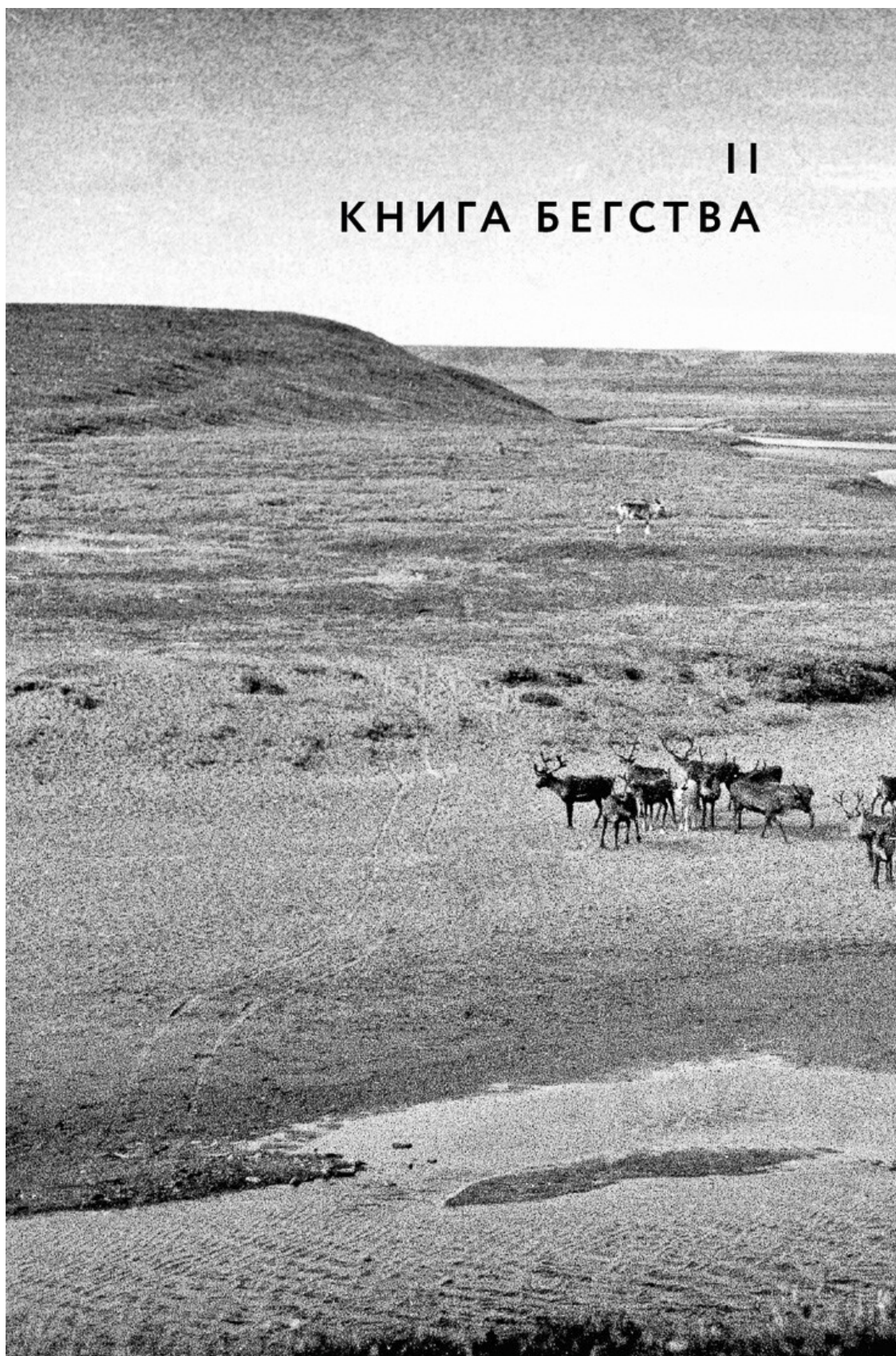
Подожди, я как-нибудь расскажу тебе... А пока что хочешь знать, за что я всю жизнь буду благодарен тебе? Не согласишься. И не вспомнишь: тот самый день, когда мы прилетели в Нарьян-Мар, за несколько часов перепрыгнув расстояние, на преодоление которого в одиночку у меня ушла без малого неделя. Была прекрасная погода, голубое небо, контрастный «мартовский» северный свет, озаренные этим светом «пески» на окраине города, бараки, пятиэтажки, непривычный для наших широт, выстроенный острыми пиками лиственниц силуэт леса. Печора вдали: сталь с синевой, с кольчужной искрой, обещание дороги дальней, морского плеска, морского ветра... Уже не помню, чем мы были заняты: должно быть, в гостях у Корепанова сидели над картой, прикидывая возможные варианты маршрута...

А потом вернулись в гостиницу, кое-как затянули от прямого солнца окно и легли спать: я еще намеревался читать что-то, а ты почти сразу уснул, улыбнувшись, и вдруг ясно, совершенно отчетливо произнес – то ли уже во сне, то ли в том волшебном состоянии, которое предшествует ему:

– Хорошо...

Вот за это «хорошо», Петя, буду помнить тебя всегда: потому что и тебе, выходит, был дорог унылый рай моей души, необъяснимый рай приближающегося Севера, пространства, разверстого на все четыре стороны, пространства, исполненного величественной, симфонической красоты и настоящей губительной жути, жути человеческого умирания, рядом с которым метания Беглеца, о которых я обещал поведать тебе, покажутся комедией, мой друг.

II. КНИГА БЕГСТВА





Между «теперь» и «никогда»

С чего бы, однако, начать комедию? Пожалуй что, Петька пока пусть спит. Во второй раз уже я оставляю его спящим на полях повествования, но что поделаешь? Эта комедия не для слуха юноши. Есть вещи, которые делаются забавными только по прошествии времени. Да и то если время прошло не даром и ты утвердился в своей взрослости – не как в проклятии, а как в способности следовать избранным путем. Если мир ловил тебя, но не поймал. И ты сумел... Как это говорят? *Состояться*? Да довольно бы и того, если ты просто сумел *быть*. Тогда, в кругу близких, отчего бы не вспомнить, как ты готовил побег, в особенности если он оказался удачным? Как обходил ловушки и привады, как распознавал приманку в самых жирных кусках, попадавших на дороге и, поджимая тощее брюхо, сглатывал свинцовую слюну, дрожа от искушения, проклиная свое бегство, проклиная все на свете и самого себя, чтобы в конце концов все-таки обмануть обстоятельства, запутать следы, забраться в глушь, забыться, быть забытым, чтобы однажды вернуться в мир, который тебя больше не помнит, и просто быть в нем тем, кем ты хотел. *Быть*. Важное слово.

Не для тебя, исполненный надежд юноша, переполненный будущим. Что тебе сейчас Беглец, если у тебя столько капитала в банке времени? Что ты знаешь о нем?

Ничего.

Так что спи или хоть делай вид, что спишь, и молчи: а то еще спросишь, от чего он бежит, – и придется объяснять вещи, которые ты понять еще не в силах. Ибо, видишь ли, бегут-то всегда от одного и того же: от несбывшихся надежд, от несчастной обанкротившейся любви, которую больше нечем кормить, от быта, который ты вроде сам и устраивал, пока не построил тюрьму для себя, комфортабельную тюрьму с видом на стену соседнего дома, щедро расплатившись за это временем своей жизни. От несбывшегося таланта: это труднее всего объяснить тебе сейчас, когда ты только окончил десятый класс и весь мир – твой. Но подожди немного, подожди лет семнадцать – и ты увидишь Беглеца совсем иными глазами. Он – тот же юноша, получивший тот же завет на тропинках своего детства: «Мир – божественность, все дозволено, дерзай!»

Но времени у него больше нет. Вот он сидит на полу перед целой кучей бумаг, перебирая их. И вот этот отрывок неплох, и вот этот тоже... Эти отрывки, обрывки мыслей, пробы рисунков, стихов – это все остатки какого-то жизненного предназначения, следы надежды. Ею питала себя молодая любовь, ею жила вера в свободу и в талант, который сужден человеку... И вот свобода утрачена, талант разменян, а надежда живет в последнем отчаянном и ни на чем, в общем-то, не основанном допущении, что, может быть, еще удастся проскочить *куда-то* между двумя исполинскими, как скалы, массивами времени «теперь» и «никогда», зазор между которыми стремительно становится все уже и уже...

И вот человек, который не выдержал и решил сунуться в эту щель с риском быть зажатым и раздавленным, становится Беглем. Говорят, от себя не убежишь. Но что это значит? Поразмысли. Бегут-то от прошлого. И если там нет ничего такого уж, никаких отягчающих обстоятельств, то можно, пожалуй, и оторваться. Можно начать новую жизнь. Через семнадцать лет, если захочешь, я расскажу тебе, когда бежать просто необходимо: я кое-что смыслю в вопросе, я сам был в бегах шесть лет. Но оторваться от прошлого смог, только превратив свое бегство в экспедицию...

Прежде чем это произошло, я пережил несколько поистине злосчастных лет. Может сложиться впечатление, что я рассказываю о придури взрослого человека, не доигравшего в детстве в Робинзона Крузо, но для меня речь шла о жизни и смерти. Я жил с неуклонно нарастающим ощущением катастрофы и отчаянным чувством, что потерял свою путеводную нить и совершенно не знаю, в каком направлении двигаться. Развод, и в особенности все, что ему

предшествовало, подействовал на меня разрушительно: я знал, что потерпел серьезнейшее *человеческое* поражение, не сделал чего-то, во всяком случае, *ни в чем* не убедил женщину, которую любил и с которой прожил почти семь лет. Моя жизнь была *не убедительна*. За полтора года одиночества я перечитал кучу книг по философии и психологии, но не написал ни одной путной строчки. Дар писательства оставил меня. Должно быть, он не хотел служить боли и отчаянию, которые я, желая или не желая того, так или иначе пытался выразить. Я много пил. Из четырех начатых в это время повестей не удалась ни одна. Я сам понимал это и бросил две из них, не закончив, с чувством несравненного облегчения...

Именно тогда в дневнике моем возник, а потом сделался постоянным, настойчивым, почти навязчивым мотив бегства. Казалось, я сам к себе примеривал эту возможность, то так, то иначе варьируя тему и не осмеливаясь последовать примеру своих героев лишь потому, что в финале этих вариаций никогда не обнаруживалось ничего обнадеживающего. В лучшем случае это было исчезновение, растворение в молекулярном брожении мира, бывшее, несомненно, лишь эвфемизмом смерти, которая все эти годы пристально наблюдала за мной, угадав подранка и предчувствуя возможную жертву.

Я описал попытку бегства в детство преуспевающего врача-психотерапевта, высосанного своими пациентами, опустошенного своей работой и своим успехом. Однажды с какой-то особой остротой приходит это чувство. Что-то неладное происходит с ним, привычные приемы самоконтроля не действуют, солнце взрывается у него в голове... «A Momentary Lapse of Reason»... Он не выдерживает, садится в машину, срывается, гонит – апрель, зеленый дым, магнитофон в кабине поддает адреналину, впрыскивая в кровь пульсации к месту случившейся песенки «Learning to Fly»... Почему-то он оказывается на окраине своего детского мира, на опушке леса, который все тот же, что в детстве, и та же сосна с засохшей вершиной сторожит вход в зеленые чертоги...

Конечно, он понимает, насколько наивна эта попытка бежать вспять, но он здравомыслящий человек, он отдает себе отчет в том, что это, в конце концов, тоже своего рода терапия, и если он приехал сюда, значит, так нужно: ему необходимо *интегрировать* какой-то опыт, что-то вспомнить или что-то найти, и его *бессознательное* само подскажет ему – что. Оказывается, что это – то древнее болото, спрятавшееся в самой лесной глуши, в котором когда-то воплощались все детские его представления о тайне, о настоящей тайне, состоящей из восторга и ужаса перед этим местом, которое простиралось во времени бесконечно, возвращая свои диковинные растения, издавая урчащие звуки, пузырясь ртутными сгустками газа, поднимающегося со дна черных бездонных окон болотной воды, населенное, несомненно, своими духами и похожими на духов совами... И вот он, взрослый и все понимающий человек, идет по пустому прозрачному лесу к этой таинственной чаще своего детства, к этому лесному оку, и с удивлением чувствует, что лес нежно, почти незаметно, как акварель, размывает запекшуюся глину забот, быта, минеральную горечь выгоревшей любви, черноту чужих исповедей, все то, что делало жизнь невыносимой, и он вдруг снова вспоминает бесконечность образов, вкрапленных детством в память, тот запах мира, тот цвет... Он ступает на болото почти счастливым, забыв, что болото полно талой весенней воды и тропинка между трясинами – нет, не забылась, она просто не натоптана еще... Он оказывается в пространстве, где под ногами колышется земля, видит черное окно воды, в испуге шарахается в сторону и проваливается...

Он не думал, что может быть так, что это опасно.

Дурацкий порыв, всего лишь порыв, всего лишь шаг в сторону.

Ледяная жижа внизу. Он чувствует животом тяжелую, как цемент, пребывающую в вечном мраке жижу, беспощадно со всех сторон сдавившую его...

Воспаление легких.

Он пытается вырваться и проваливается по самые плечи.

И тут понимает, что не испорченный костюм и не воспаление легких, а смерть.

Болото жмет его, и холод дикий, от которого вскоре совсем перестыло горло; холод, сочащийся через шею в голову, сводящий с ума...

Он делает еще один рывок – и понимает, что теперь над поверхностью осталось одно только его лицо. Некому было кричать, да и невозможно крикнуть, он видел только небо – огромный синий свод, простиравшийся над трясинной, по которому так изумительно красиво и с таким равнодушием к его гибели скользили белые облачка поднявшегося от весенней земли пара...

Детство и смерть – все угадано верно. Желание детской полноты бытия и невозможность достигнуть... Смерть. Я никогда не понимал раньше, почему в русских народных сказках погибших героев поливают сначала мертвой водой, а потом живой. Иногда необходимо умереть, «умереть от себя», чтобы ожить снова. Я пережил символическую смерть, отказавшись от имени: новые литературные пробы я стал писать и публиковать под чужими именами, поскольку «я», представляемое моим собственным, никак не желало расставаться с некоторыми усвоенными навыками письма, жадной признания и мрачными воспоминаниями. На самом деле, чтобы «ожить», мне потребовалось изменить весь образ своей жизни, образ мышления и мироощущения, смыслов, всего. И пока я не поменял всю кожу, я так и не мог нормально жить дальше. Ибо, отчего бы мы ни бежали, в конце-то концов мы бежим от собственного ничтожества. Это духовная нищета, болезнь века, которой много было свидетельств и которая для многих одинаково плохо заканчивалась. Но, возможно, бросаясь прочь, обретешь что-то, чем сможешь обогатиться?

Сейчас прошло так много времени, что многие прежние переживания кажутся смешными, равно как и собственные поступки: да, меня ломало не на шутку, но со стороны, должно быть, это выглядело презабавно: от чего бежит, о чем вопрошает, с кем спорит, кому отвечает, почему казнит и мучает своих героев, почему ищет то забвения, то знака свыше этот человек? Я написал кусочек прозы, в котором дошел до буквального раздвоения личности: один мой герой олицетворял мое разумное «я»; другой был художник, смелый до безрассудства, который в поисках самости перешагивал собственно границы искусства, чтобы быть поглощенным жизнью с возможным роковым исходом для себя...

Он покидает меня, когда понимает, что мои увещания не подвергать себя риску и быть как все не выходят за пределы обывательских суждений. Последнее, что я успеваю перехватить, – это телеграмма, которую он отправляет возлюбленной – женщине, которую и я втайне готов был бы полюбить...

Готов полюбить! Когда после полутора лет одиночества я снова влюбился – я, к стыду своему, прежде чем обрадоваться, испугался: а что разделю я с возлюбленной? Что, кроме своих неудач и сомнений? Лишь попав наконец на Остров, я узнал ответ. Остров и был ответом. Исступление писательства, искание славы – все это разом отлетело от меня, с тех пор, как я принял Остров как дар, как тайну. В любовь, которая связывает двоих только узами влечения и тем более «долга», я не верю. Я верю в любовь, которая возрастает, подобно дереву, помогая двоим раскрываться, требуя, неустанно требуя от них пищи для роста, новых смыслов, новых, все более сложных ролей, все более прозрачных, промытых оттенков чувств. И если душа моя требовала похода – значит, любимой выпало верить в то, что поход мой удастся и я совершу невозможное. Ну а куда не совершил – увести прочь от желанного ложа своего, проводив напутствием из мудрой сказки: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что...»

Если путешествие удастся, я принесу его тебе, любимая, как дар. Не знаю еще, что это будет. Может быть, фотография, может быть, растение, камень... Что-то очень важное. Слово. Вот, пожалуй, главное сокровище, которое я жаждал обрести. Вот ключ ко всей этой истории...

Конечно, жизнь, как таковая, всегда таит в себе для художника опасное искушение – броситься в нее и, разломав собственные построения, погрузиться в непосредственность переживаний, прекрасных, как холодная ясная ярость сражающегося воина или огненный вихрь,

бросающий в танец влюбленного танцора. Что-то подобное случилось с Артюром Рембо, которому путешествие в Эфиопию открыло что-то более необыкновенное, чем откровения Верлена и поэта «Пьяного корабля». Рембо бежал в Африку, чтобы не погибнуть. В результате он лишился голоса. Возможно, жизнь оказалась драгоценнее «творчества». Искусство и личная жизнь – одно; твоя жизнь и есть твое искусство. Или – искусство – способ достигнуть наивысшего напряжения жизни.

Так ли это?

Религия?

Любовь?

Воспитание детей?

Все искусство, все требует наивысшего мастерства. Искусство оправдано как средство остаться целостным человеком... У него нет другого оправдания, другой цели...

Мой двойник Андрей Юз исчез: в своих поисках достоверности он дошел до некоей опасной для художника грани, за которой художник, собственно, перестает быть просто художником и, поглощенный огромностью жизни, начинает создавать уже не произведения искусства, а поступки – что требует виртуознейшего мастерства, но не сулит, увы, особых выгод. Но я не искал выгод. И мне ничего не оставалось, как, исполнившись смелости своей тени, пуститься в неизвестный путь и дорассказать историю Беглеца: историю о том, как он побеждает страх и на его обломках строит свой миф, который со временем станет ему убежищем...

Бегство

Четыре часа утра. Поезд останавливается возле давным-давно неремонтированного вокзальчика какой-то богом забытой станции, и пассажиры начинают с привычной сноровкой выгружать на низкую платформу мешки с картошкой. Слышно сиплое дыхание, покашливание, голоса... Сквозь стекло вагона можно прочесть название станции: Печора. Я подхватываю свой рюкзак и выхожу из вагона. Туман. Холодно. Крошечная площадь. Автобусная остановка. Откуда-то появляется автобус, делает круг, останавливается. Люди набиваются внутрь. Меня прижимают к поручню у окна; я оттираю стекло от холодной испарины, вижу серую, залитую туманом площадь, несколько фигур, перетаскивающих мешки в багажники трех-четырех легковых автомобилей, едва различимое в тумане здание вокзала.

Я не вернусь сюда никогда. Никогда не воспользуюсь этим вокзалом для бегства назад. Даже если...

Автобус фыркает и трогается. Из тумана привокзальной площади увозит меня еще дальше в туман: вижу заросшее пожелтевшей осокой болото, несколько пятиэтажных домов и вдали металлические опоры, удерживающие что-то выше нижней границы тумана.

Город тумана: неплохое начало.

Я *ничего* не знаю об этом городе.

Конечная остановка. Оставшиеся в автобусе пассажиры выходят, разбредаются в разные стороны и растворяются в молочной тишине. Я остаюсь один: площадь, песок.

Памятник Ленину в зарослях полыни и пижмы: словно наставник дзен, он уверенно протирает руку свою в белую пустоту. Видимость – десять метров. Все открывается фрагментами, словно в кино: тропинка вьется меж заборов, жесткие резные листья крапивы торчат меж штакетин, бревенчатые стены, старые дома, обрыв. Внизу, должно быть, река. Мощенный разбитыми бетонными плитами взвоз, стая собак, спящих на берегу. Чуть плещет вода у схода старого дебаркадера, похожего на плавучий деревянный теремок или на старый неуклюжий двухпалубный пароход без трубы. Гулко отзываются шаги по мокрым от росы железным сходням. В зале ожидания – ни одного человека. За окном – все тот же туман, скользящий по воде. Касса закрыта. Я начинаю стучать. Не сразу, но приоткрывается окошко: в нем возникает неприветливое лицо едва проснувшейся женщины. Я наклоняюсь к ней и говорю, что хотел бы снять здесь каюту. Женщине, напротив, совершенно не хочется этого. Она недовольна тем, что я ее разбудил, и не желает понимать меня. Только после моих уверений в том, что я заранее, по телефону, договорился с начальником дебаркадера о каюте, она выдает мне ключ, предупредив, что каюта двухместная и она обязательно должна будет кого-нибудь ко мне подселить. В тот момент мне все равно. По наружной железной лестнице поднимаюсь на верхнюю палубу, в самом конце длинного сумрачного коридора нахожу дверь своей каюты, сваливаю на пол рюкзак и, предвкушая, с каким кайфом сейчас сам завалюсь спать – только вот выпью чего-нибудь горячего, – оглядываю голубые пластиковые стены своего прибежища в поисках розетки. Ее нет. Не могу поверить, ищу: нет. Черт! Хоть бы глоток горячего. Здесь холодно, как в могиле. Выхожу из каюты и иду в туалет: здесь должна быть розетка для электробритвы. Точно! Засыпаю в кружку свой кофе, заливаю его водой, опускаю в нее кипятильник, кружку ставлю в раковину...

Спираль кипятильника медленно обрастает пузырьками: из розетки сочится тепло. Тепло! Славлю тебя, кипятильник, наследие темного прошлого! ГУЛАГа, армейских дежурок, лесопунктов, гостиничного и вокзального сиротства. Два провода, два лезвия «Нева» от безопасной бритвы к станку образца 1943 года... Главное – не робеть и смело оголенными концами проводов нашаривать источник тока: оба-на, есть! Напряжение садится, и лампочка над раковиной тлеет рыжим светом. Один самодельный кипятильник способен вырубить целую

европейскую гостиницу – и хрен бы с ней, в борьбе за жизнь не до сантиментов, и в борьбе за кайф не до них, а кипятильник – он для того и создан коллективным гением народа, чтобы везде, где только возможно, производить кипятков и чифирь. Кипятильник – последнее оружие пролетариата.

Кофе «Альворада» не просто невкусен – он отвратителен. Но он горяч! Выпиваю целую кружку, возвращаюсь в каюту, раздеваюсь и ложусь в постель. Полежав минуту, чувствую, как холод отсыревшего белья пронизывает меня. Надеваю свитер. Засыпаю.

* * *

Проснувшись, медленно соображаю: где я? Что-то не могу сообразить. Голубые пластиковые стены... Не слышно ни звука. Напряженно вслушиваясь в это безмолвие, вдруг слышу крик птицы. Чайка. Потом – скрип. Странный. Это скрип... Черт побери! Это скрип швартового каната на кнехте! Я на дебаркадере! Причем один. Восемь утра, а не слышно ни звука. Перегородки между каютами тонкие, я бы точно услышал, если бы был кто-то еще... Ах ты, старая злобная ключница! Пойду в город – возьму ключ с собой, чтоб никого ко мне не подселила...

Туман над рекой чуть поднялся, стали видны вдаль большие портовые краны, чьи опоры я видел из автобуса, словно ноги каких-то заоблачных гигантов. От двух пятиэтажек по откосу берега мусорно сползала россыпь лодочных гаражей. Хотелось есть. Я спустился на нижнюю палубу дебаркадера, где, помнится, видел надпись «Буфет». Надпись была на месте, но на дверях висел замок. Я отправился в город на поиски завтрака...

Есть города священные. Есть – возникшие от полноты, от невероятного сгущения жизни, может быть, даже от счастья. А есть города, возникшие в 1949 году. Возникшие по нужде, и не по своей нужде, а по нужде века, по нужде социалистической индустрии. Таков Котлас – огромная лесоперевалочная база на водоразделе внутреннего бассейна Камы и Северной Двины, в исходе которой – Архангельск – порт и центр лесной торговли. Таков Череповец – общага на триста тысяч человек, пристроенная к гигантскому металлургическому комбинату, поставленному в точке равновесия железнодорожного маятника, соединяющего руду Кольского полуострова с углем Северного Урала. Принадлежала к числу этих несчастных городов и Печора, означая собою перекресток: реки и железной дороги. Чтобы понять это, не требовалось много времени: города эти похожи один на другой. В них, прежде всего, все целесообразно. Есть дома, улицы, тротуары. Автобусные маршруты. Магазины. Парикмахерские. Аптеки. Кинотеатры. Библиотеки. Все вроде бы есть, а в то же время на сердце пусто: ничто не заставит его восторгнуться, поразившись величию замысла, проступающего в огромных массах перемещенной материи: камня, дерева, стекла, металла, ничто не поражает избыточностью творения, отрицающего как раз всякую целесообразность, как колокольня Ивана Великого, как Исаакиевский собор, как Тауэр или Эйфелева башня...

Положим, от маленького города нелепо ждать столичного размаха и величия, но разве город Истра не пребудет веки, покуда в центре его, наполовину ушедши в землю, наполовину подавшись ввысь, гигантским грибом не вспучивается храм Воскресения Христова? Разве храм не удерживает город собою, как атлант небо? Да только он и удерживает! И заброшенная крепость древнего Изборска перестойт Изборск нынешний и послужит завязью нового, который примет ее в себя, как свое сердце. Потому каждый вправе требовать и от маленького города открыть лицо свое: ибо каждый город – символ, оставленный человеком на земле. И есть совсем невеликие города, потрясающие душу следами былой пронзительной красоты, по-прежнему осеняющей их, словно благословение или, во всяком случае, вопрошание о красоте и о причинах ее упадка...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.